

## В.П.Желиховская

### Елена Андреевна Ган, писательница-романистка, в 1835–1842 гг.

Читая в «Русской старине» то и дело появляющиеся в ней интересные письма и воспоминания не только государственных деятелей, но и частных или *почти* частных лиц, мне не раз приходило в голову воспользоваться тем, быть может, небезынтересным материалом, который сохранился в моей памяти, а в особенности в старых письмах моей покойной матери, известной в свое время русской писательницы (романистки). Меня удерживала боязнь, что о хороших людях, а тем более о выдающихся чем-либо хорошим из общего людского строя не следует писать их близким, дабы это хорошее не было принято за лесть или за невольную дань родственной приязни.

Ныне я освобождена от заботы познакомить читающую Россию, собственно, с жизнью матери моей благодаря добросовестному труду *Е.С.Некрасовой*<sup>1</sup>, давшей в двух книгах «Русской старины», изд[ания] 1886 г., о моей матери и о ее литературных трудах достаточно цельное понятие<sup>2</sup>. Но одновременно с ее статьей, составленной без предвзятых мнений, по основательным данным, в другом журнале появилась статья, составленная из произвольных измышлений, пущенная в свет под сенсационным, хотя совершенно бесправным заглавием *ее романа*, незаслуженно придавшая личности матери моей грубый и пошлый характер, которому она сама, благодарение Богу, поистине являла крайнюю противоположность<sup>3</sup>.

Это неожиданное оскорбление ее памяти заставило меня снова внимательно перечитать все письма моей матери, ища в них не подтверждения, а хотя бы малейшего основания поклёпам покойной г-жи Сенковской<sup>4</sup>. Нечего и говорить, что я его не нашла; но зато я нашла в ее письмах столько интересных фактов и литературно-прекрасных мест, что решилась передать их в извлечениях, дополняя пробелы их собственными воспоминаниями моего детства.

Передо мной кипа выцветших писем второй половины 1830-х годов, из которых всякому прочитавшему их станет ясна печальная ошибка тех, кто на основании статьи «*Роман забытой романистки*» составит себе понятие о Елене Андреевне Ган как об особе легких нравов, легких понятий и легкого обращения в обществе. С семнадцати лет легли на нее заботы о семье, о страстно любимых детях, и она не только не тяготилась ими, а напротив, вся проникнутая чувством своих материнских обязанностей, нашла в них цель, смысл и даже утеху своей жизни. Даже на свой поэтический дар, на свои литературные труды смотрела она лишь как на единственное средство дать им лучшее воспитание, образование выше средств, доступных их состоянию.

---

Публикуется по: Русская старина, 1887, №3.

Подготовка текст и комментарии А.Д.Тюрикова.

Ган Елена Андреевна (1814–1842) – писательница, печаталась под псевдонимом «Зенеида Р-ва», мать Е.П.Блаватской и В.П.Желиховской.

<sup>1</sup> Некрасова Екатерина Степановна (1847–1905) – журналистка, историк литературы.

<sup>2</sup> *Некрасова Е.С.* Елена Андреевна Ган (Зенеида Р-ва). 1814–1842 // Русская старина, 1886, №8, 9.

См.: Письма В.П.Желиховской к Е.С.Некрасовой (1884–1887) // [http://art-goerich.org.ua/sites/default/files/blavatska/J\\_Nekrasova.pdf](http://art-goerich.org.ua/sites/default/files/blavatska/J_Nekrasova.pdf)

<sup>3</sup> Речь идет о клеветнической статье А.В.Старчевского «Роман одной забытой романистки» (Исторический вестник, 1886, №8, 9). В ответ на эту статью появились в печати письма Н.А.Фадеевой и В.Желиховской в защиту Е.А.Ган (Исторический вестник, 1886, №11) (см. также: В защиту Е.А.Ган. Письма Н.А.Фадеевой, В.П.Желиховской и др. по поводу статьи А.В.Старчевского «Роман одной забытой романистки» (1886) // [http://art-goerich.org.ua/sites/default/files/blavatska/H.Nahn\\_protection\\_4.pdf](http://art-goerich.org.ua/sites/default/files/blavatska/H.Nahn_protection_4.pdf)).

Старчевский Альберт Викентьевич (1818–1901) – писатель, публицист, издатель, переводчик.

<sup>4</sup> Сенковская Аделаида Александровна (1806–1853) – писательница, жена О.И.Сенковского.

Сенковский Осип Иванович (1800–1858) – востоковед, писатель, редактор журнала «Библиотека для чтения» (1834–1847), печатался под псевдонимом «Барон Брамбеус»

«Пусть платят мне по 1000 р[ублей] за вспаханную десятину, и я с охотою примусь за обработку земли, вместо своих рукописей!» – писала она тем, кто легкомысленно осуждал ее в трате времени, ради авторского тщеславия. И далее, когда ей советовали оставить занятие для сохранения здоровья: «Какими бы то ни было жертвами хочу, чтобы дети мои были хорошо, но фундаментально хорошо образованны. А средств, кроме пера моего, – у меня нет!...»

С самого начала ее семейной жизни материнские чувства ее были жестоко потрясены потерей двухлетнего сына – Александра, умершего от медленной хронической болезни, заставлявшей ее в продолжение месяцев страдать, глядя на постепенное угасание страстно любимого ребенка. Тем горячее обратилась она к обязанностям своим в отношении оставшихся детей, старшей, четырехлетней дочери Елены<sup>5</sup>, и меня, вскоре затем появившейся на свет. Вопреки советам докторов, боявшихся за ее здоровье, она непременно сама захотела кормить меня.

При таких-то семейных обстоятельствах год спустя, служа мне кормилицей и далеко не утешенная в утрате сына, мать моя должна была, по служебным делам мужа<sup>6</sup>, ехать в Петербург, – в поездку, давшую почти пятьдесят лет после смерти ее добрым людям повод бросить комком своей житейской грязи в ее чистую память!

Это было в 1836 году. Здесь множество эстетических удовольствий: знакомство с произведениями художников и артистов, с ними самими; со многими новыми лицами, родственниками и посторонними, которые, очарованные ею, наперерыв старались угодить, развлечь, доставить ей удовольствие, а в особенности прогулки по окрестностям Петербурга, по Неве и островам, поездки в Царское, в Петергоф и Кронштадт – развлекли мать мою и доставили ей много приятных часов, которые она не уставала описывать своим близким.

Глубоко религиозная и восторженная патриотка, первые письма ее переполнены описаниями храмов, их величия, святынь и победных трофеев, находящихся в Казанском, Петропавловском, Александро-Невском и других соборах.

«Меня поразило величие Невского монастыря, серебряная рака святого Александра с его четырьмя ангелами; гробницы наших великих людей и воинов, – пишет она сестре своей, – но ничто не может сравниться с тем глубоким впечатлением, которое овладело мной при входе в Казанский собор!»

Перед тем она описывала первую прогулку свою по Невскому с братом своего мужа, Ив[аном] Алекс[еевичем] Ганом<sup>7</sup>, которому занятый службой отец мой поручил познакомить ее со столицей, и продолжает далее:

«Ты со своим патриотизмом, наверное, прослезилась бы при виде стольких трофеев... Даже я, охладевшая к сильным ощущениям, только присутствием Ив[ана] Алексеевича была удержана от того, чтобы не броситься на колена, вступив в этот чудный храм, и на коленах взирать на славу России!.. Только иконостас украшен образами: обе стороны громадного собора покрыты букетами знамен, отбитыми у врагов в царствования Александра и Николая; а внизу надписи на золотой доске гласят: кем, когда и у кого отбиты. О, как понуро смотрят здесь прославленные Наполеоновские орлы! Повесь горестно носы, они, кажется, готовы спрятать свои посрамленные головы под крылья!.. Тут и персидский лев, смирившийся в овечку; и магометанская луна и, наконец, на двух колоннах ключи, поднесенные взятыми с бою крепостями, а над ними жезл маршала Даву<sup>8</sup> словно отдает честь могиле героя нашего, Кутузова<sup>9</sup>... Не знаю, о чем и говорить,

---

<sup>5</sup> Е.П.Блаватская.

<sup>6</sup> Ган Петр Алексеевич (1798–1873) – офицер кавалерийской артиллерии, полковник в отставке (1845), управляющий Каменец-Подольской земской конюшней (1846–1848), Гродненский губернский почтмейстер (1851–1858), муж Е.А.Ган, отец Е.П.Блаватской и В.П.Желиховской.

<sup>7</sup> Ган Иван Алексеевич (1810–1889) – председатель Саратовской казенной палаты (1855–1860); в 1836 г. служил в Петербурге поручиком в л.-гв. Кирасирском Е.И.В. полку (см.: Шумков А.А. Хотилицкие Ганы // [http://oldbasman.ru/d/875918/d/karamysh\\_gany.pdf](http://oldbasman.ru/d/875918/d/karamysh_gany.pdf)).

<sup>8</sup> Даву Луи-Николя (1770–1823) – полководец наполеоновских войн.

<sup>9</sup> Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович (1747–1813) – полководец, генерал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года.

так много впечатлений!.. Одна из лучших картин Петербурга, бесспорно, представилась мне со стены Петропавловской крепости. Она очаровала меня!.. Весь город, как в волшебной панораме: от Смольного монастыря до взморья. У ног широкая, тихая в тот вечер Нева с целым лесом мачт и парусов на взморье; по ту сторону ее дворцы, набережные, сады – все тонуло в золотистом тумане заката...»

Большой помехой в одиноких (поневоле: не всегда же находились провожатые между занятыми службой родственниками!) прогулках хорошенькой молодой женщины по столичным улицам составляли уличные ловеласы, и мать моя часто жалуется на эту, в провинции неизвестную, помеху и юмористически описывает свои с ними переделки.

«Чтобы наслаждаться вполне чудными картинами, которые здесь встречаешь на каждом шагу, – говорит она, – надо бы быть огражденной от тысячи прохожих; а здесь, к несчастью и стыду петербургской публики, женщине, моложе пятидесяти лет, одной ходить почти невозможно! Представь себе, сегодня я долго застоялась на площадке у Зимнего дворца, любуясь на бурную Неву и чудную картину захода солнца меж черных туч. На противоположном берегу возносился весь ярко озлащенный шпигель крепости с ангелом; подле окопов и крепостных стен, о которые разбивались свинцовые волны, красивое здание биржи с колоннами, со множеством мачт всех народов, с пароходами, из которых несколько разводили пары, выкидывая из труб клубы фантастически окрашенного дыма. Вправо и влево необозримой грядой тянулись дворцы, сады, храмы; а за этими природными декорациями, вдали, на рукаве Невы, спускалось солнце меж багряных облаков... Небо черно, река черна и волниста; на облаках и волнах ходят ярко-багровые вспышки, огненные просветы, словно на кратере вулкана, и среди этого хаоса красок, света и тени сотни лодок с белыми парусами ныряют, как белокрылые пташки, испуганные бурей!.. Ну как не залюбоваться такою картиной?.. Я и залюбовалась и запоздала... И за то была наказана: пристал ко мне на возвратном пути какой-то гвардеец, и добро бы молоденький, а то увешенный орденами, пожилой человек, а все еще проказит, старый бес!.. Вообрази, предолго шел, заговаривая, осыпая комплиментами на трех языках: по-русски, французски и по-немецки... Надоел он мне! Хорошо еще, что дерзости никакой себе не позволил. Вздумала я отделаться, притворившись, что не понимаю, да вдруг обернулась и пресердито закричала: “Lasciami, signor! Non so che dice!”<sup>10</sup> Он сквозь зубы: “Ах! Итальянка!.. С тобой не разговоришься!” И на повороте исчез. Вечером пришли Ив[ан] Алексеевич и Николай Васильчиков<sup>11</sup> и так напугали меня рассказами о подобных уличных приключениях, очень неприятных, что я решила не пускаться больше в одинокие прогулки... А жаль!»

Случившееся несколько дней спустя с моею матерью происшествие в таком же роде, но пресмешно закончившееся, еще более убедило ее в опасности хорошенькой молодой женщине запаздывать на улицах Петербурга того времени.

Она возвращалась от всеобщей неподалеку от дома, когда ее догнал очень юный офицерик с предложением проводить ее... Взглянув внимательнее на его эполеты, она увидела, что он артиллерист, и мало этого: одной батарее с отцом моим. В голове ее тотчас же составилась смехотворный проэкт<sup>12</sup>... Птенец был еще так юн, что она решила дать ему полезный урок и не побоялась заговорить с ним. Тот в восторге предлагал прогулки, ужины, рестораны, кондитерские; но мать моя очень развязно заявила, что совсем этого всего не нужно, а гораздо проще и веселее будет довести ее до недалеко от ее квартиры и зайти к ней...

– А вы живете одни? – спросил птенец.

– Нет, не одна... Но мои будут вам очень рады! – успокоила его мать моя; сама успокоенная тем, что они уж входили в ворота. – Я живу здесь!.. Прошу вас идти за мною.

<sup>10</sup> «Оставьте меня, сударь! Я не знаю, что Вы говорите!..» (ит.).

<sup>11</sup> Полубрат по матери моего отца. – *Примечание В.П.Желиховской.*

Васильчиков Николай Николаевич (1816–1843) – сын Елизаветы Максимовны Ган (урожд. фон Прёбстинг), матери П.А.Гана, во втором браке с генерал-майором Н.В.Васильчиковым (1781–1849).

<sup>12</sup> проект.

Офицерик, не помня себя от радости, вошел, сгоряча не разобрав в передней шинели и фуражки знакомой ему формы. Его гостеприимная спутница обязательно подождала, пока он сбросил верхнее платье и, войдя в сопровождении его в гостиную, где муж ее сидел, спокойно куря трубку и раскладывая пасьянс, громко сказала:

– Петр Алексеич! Вот молодой человек, твой сослуживец, спасибо ему, обязательно проводил меня из церкви... Я так не люблю ходить одна по вечерам, что жалела, зачем не взяла лакея, а он меня выручил. Поблагодари его!

Можно представить себе жалостное положение птенца, вероятно, впервые задумавшего расправить неопытные крылышки! Он оторопел и побледнел, узрев перед собой свое прямое начальство, хотя в добродушном приеме отца моего не было ничего страх внушающего... Несмотря на усиленные просьбы остаться, напиться чаю, молодой артиллерист, оказавшийся только что выпущенным со школьной скамьи прапорщиком, смущенно отказался провести вечер в обществе, которого за несколько минут сам желал так пламенно, и после долго не мог при встречах смотреть в глаза моей матери, хотя она своим приветливым, ровным обращением никогда не напоминала ему его неловкой ошибки, над которой она, по уходе его, вдосталь насмеялась вместе с мужем.

Вскоре все, покидавшие на лето столицу, вернулись обратно, и матери моей уж более не приходилось, в отсутствие мужа по служебным обязанностям, одной гулять по Петербургу: у нее явилось множество чичероне обоого пола в лицах громадного родства Фадеевых и Ган. Возвратились и Сушковы<sup>13</sup>, и их родственники Беклешевы, дядя и тетка<sup>14</sup> кузин моей матери Катерины и Лизаветы Александровны Сушковых. В то время одна из них, только меньшая, Лиза, некрасивая и горбатая, была замужем за Ладыженским; старшая же, Катя, очень романтическая барышня с черными пламенными глазами и убеждением в своей поэтической разочарованности (судя по письмам моей матери), жила поочередно то у одних своих родственников, то у других в Москве, Петербурге и Пскове. Отца и матери их уже не было в живых.

Как только Сушковы приехали, тотчас же навестили родителей моих; но, не застав их дома, велели передать самые родственные чувства, приветы и просьбы навестить их скорее по крайне важному делу. Мать моя отправилась к ним на другой же день. Важное дело оказалось, кроме того, весьма невероятным делом: какой-то сенатор Кушелев передал их общему деду, князю Павлу Вас[ильевичу] Долгорукому, «достоверные сведения» об огромном наследстве, *десятиках миллионов*, положенных якобы отцом его, князем Василием Долгоруким<sup>15</sup>, в английский банк во время гонения Бирона<sup>16</sup> на род Долгоруких... Загвоздка к получению этого прадедовского капитала, с процентами на проценты, состояла лишь в том, что *сгорели документы*, выданные банком!.. Впрочем, Сушковы уверяли, что Кушелев указывал на какие-то лазейки и доказательства; что дедушка (проживавший в то время в своей деревне Пензенской губ[ернии]) надеется и решился деятельно хлопотать и советовал моей матери «не зевать», а сама Катерина Александровна собиралась непременно тотчас же ехать в Пензу, как только прослышит что-либо новенького о прадедовских миллионах... Мать моя не обратила внимания на эти сказочные слухи;

---

<sup>13</sup> У князя Павла (официально Ивана) Васильевича Долгорукова, последнего представителя старшей линии в роду Долгоруких, не было сыновей, а лишь две дочери: старшая Елена Павловна, в замужестве Фадеева, мать моей матери, и меньшая, Настасья Павловна, в замужестве Сушкова, мать двоих дочерей, вышедших за Хвостова и Ладыженского. – *Примечание В.П.Желиховской.*

Долгоруков Павел Васильевич (1755–1837) – генерал-майор, прадед Е.П.Блаватской и В.П.Желиховской.

Фадеева Елена Павловна (урожд. Долгорукая, 1788–1860) – ученый-естествоиспытатель, бабушка Е.П.Блаватской и В.П.Желиховской.

Сушкова Анастасия Павловна (урожд. Долгорукая, 1789–1828) – переводчица, жена А.В.Сушкова (1790–1831).

Хвостова Екатерина Александровна (урожд. Сушкова, 1812–1868) – мемуаристка, двоюродная сестра Е.А.Ган.

Ладыженская Елизавета Александровна (урожд. Сушкова, 1815–1883) – двоюродная сестра Е.А.Ган.

<sup>14</sup> Беклешев Николай Сергеевич (1792–1859) и его жена Мария Васильевна (урожд. Сушкова, 1792–1863) – помещики Псковской губернии.

<sup>15</sup> Долгоруков Василий Сергеевич (?–1803).

<sup>16</sup> Бирон Эрнст Иоганн (1690–1772) – фаворит русской императрицы Анны Иоанновны.

они, в самом деле, были, вероятно, вымышлены, потому что вскоре были забыты, даже мечтательной Катей Сушковой, и надежды ее разбогатеть канули в Лету.

Одним из лучших удовольствий матери моей были выставки картин и опера. Она всегда находила, что музыка не только развлечение, но и «лучшее утешение в этой жизни, после религии»... Живя иногда в Одессе, она часто бывала в опере и находила, что тогдашние одесские певцы-итальянцы несравненно выше по голосу, обработке его и вкусу, нежели петербургский персонал, за несколькими немногими исключениями; зато декорации и обстановка далеко опередили провинциальную сцену и заставляли ее искренно восхищаться, даже балетом, которого она вообще не любила. В одном из писем ее есть юмористический рассказ об огромной семье помещика, битком набившей ложу, соседнюю с ней, блистательно подтверждающий, что машинная и декоративная часть и в 1830 годах была здесь прекрасна. Давали «Фенеллу, немую из Портичи»<sup>17</sup>, оканчивающуюся, как известно, пожаром. Когда дворец начал гореть, извергать дым и пламя, тучный глава помещицкой семьи стал выказывать явные признаки беспокойства, уверяя, что это точно горит! Что пожар точно такой же, как запрошлым летом в их деревне был, когда амбар и овины погорели... Младшие дети начали плакать, прося папеньку с маменькой скорее уйти, пока огонь «оттуда сюда не переметнул», а мать, хотя и сердилась, уговаривая детей и супруга, что «это ж не взаправду!», – однако под конец тоже не выдержала, вскочила, и все, толкаясь, бросились вон из ложи, оглядываясь и чуть не крестясь от страха.

Послушав писк «белобрысой немецкой Нормы»<sup>18</sup> или прославленного тенора Голландера, «се bien bel homme, mais bien mauvais chanteur»<sup>19</sup>, – мать моя не раз закаивалась ездить в немецкую оперу и начинала усердно посещать русские театры, смотреть и слушать русских певцов и в особенности русских актеров, во главе которых тогда стоял *Каратыгин*<sup>20</sup>.

«Слышала я Семирамиду и хорошенькую оперу: “Елиза и Клавдио”<sup>21</sup>, – писала в это время она родным своим. – Мне русские певицы несравненно более нравятся, чем немецкие. Только не Шелихова<sup>22</sup>, – она пищит! А есть несколько молодых, выпущенных учениц Кавоса<sup>23</sup>, которые очень приятно поют. И голоса обработаны, да только нет этой южной силы и гибкости, нет здесь нашей одесской Тассистро<sup>24</sup>!.. В этой опере (Елиза и Клавдио) музыка очень хороша, о декорациях и говорить нечего, – прелесть! Как быстры перемены!.. При конце последняя ария заставила меня еще более жалеть, что я не слыхала ее в Одессе. Как бы чудно разлилась Тассистро в этих прелестных вариациях!..»

В следующих письмах она говорит о приготовлениях к новой опере Меербера<sup>25</sup> «Гугеноты», ради которой решается изменить своему намерению не ходить более в немецкую оперу, «чтобы не слушать белобрысых, пискливых Норм»; но – вот новинка! – продолжает она: «Здесь готовится чисто русская, драматическая опера, либретто Кукольника<sup>26</sup>, а музыка молодого воспитанника русской музыкальной школы Глинки<sup>27</sup>: “Иван Сусанин”. Она вся на русский лад, и я со всех сторон слышу большие ей похвалы. Все в восторге от этой национальной музыки. Здесь явился новый, русский контральт<sup>28</sup>, Воробьева<sup>29</sup>; говорят, чудесный голос. Дай-то Бог!.. Она будет дебютировать мальчишкой в этой опере. Жду с нетерпением ее дебюта!.. Все кричат, что голос

<sup>17</sup> Опера французского композитора, мастера французской комической оперы Д.Обера (1782–1871).

<sup>18</sup> Норма – героиня одноименной оперы итальянского композитора В.Беллини (1801–1835).

<sup>19</sup> «этого очень красивого мужчины, но очень плохого певца» (фр.).

<sup>20</sup> Каратыгин Василий Андреевич (1802–1853) – актер-трагик.

<sup>21</sup> «Семирамида» – опера итальянского композитора Дж. Россини (1792–1868); «Елиза и Клавдио» – опера итальянского композитора Д.Меркаданте (1795–1870).

<sup>22</sup> Шелехова Мария Федоровна (1804–1889) – оперная певица (колоратурное и меццо-сопрано).

<sup>23</sup> Кавос Катерино Альбертович (1775–1840) – итальянский и русский композитор, дирижер, органист и вокальный педагог.

<sup>24</sup> Natalia Tassistro.

<sup>25</sup> Мейербер Джакомо (1791–1864) – немецкий и французский композитор.

<sup>26</sup> Кукольник Нестор Васильевич (1809–1868) – прозаик, поэт, переводчик и драматург.

<sup>27</sup> Глинка Михаил Иванович (1804–1857) – композитор.

<sup>28</sup> контральто.

<sup>29</sup> Воробьева Анна Яковлевна (1817–1901) – оперная певица (контральто).

необыкновенный, европейский; но бояться часто ее выпускать на сцену, потому что ей только шестнадцать лет...»

Не менее музыки увлекала мать мою и хорошая живопись. Письма ее из Петербурга переполнены описанием картин, виденных ею на выставках в академии художеств, в Эрмитаже; а «Последнему дню Помпеи» и самому Брюл[л]ову<sup>30</sup> она посвящает целые страницы, находя, что после его картин на другие нельзя смотреть с прежним удовольствием. «Вообразите, – пишет она, – что вы несколько часов любовались на открытое небо, на перелетные облака над живописным видом, а после вам показали бы тот же вид и то же небо, да только намалеванные на холсте... Точно такое ощущение испытываешь, бросая взор на другие картины, после живой, трагической живописи Брюллова. Глядишь и глазам не веришь!.. Удивительно, как достиг он искусства до такой степени отделять фигуры от холста?»... Далее она передает толки того времени: о том, что в мальчике с корзиной на голове Брюл[л]ов изобразил самого себя, а возле поместил «чисто русское личико с вздернутым носиком графини Самойловой<sup>31</sup>, с которой состоял в тесной дружбе...». Рассказывает, что император Николай Павлович<sup>32</sup> будто бы рассердился на Брюл[л]ова за то, что он отказался от его заказа: написать четыре картины парадов гвардейских войск. «Государь! – будто бы ответил Брюллов. – Прикажите мне изобразить какие угодно сцены из отечественной истории, из собственных побед вашего величества, – я готов! Но людей с вытянутыми носками, выпученные груди, затянутые в мундиры, фигуры, неестественно вытянутые во фронте, ей-богу, изобразить не сумею!..» И попал будто бы за то великий живописец в царскую немилость... «Теперь, – пишет мать моя, – Брюл[л]ов свел дружбу с Кукольником, поселился с ним на одной квартире, живут неразлучно, и пишет он новую картину – осаду Пскова...»

Мне очень жаль, что у меня не сохранились те письма матери моей, в которых она подробно рассказывает о своем знакомстве с О.И.Сенковским. Потеряно писем ее очень много, как видно по числам на заголовках их, что немудрено в течение полустолетия. Но и те малые указания, которые сохранились, достаточно уясняют личное мнение ее о нем и дальнейшие отношения по литературным делам. Я приведу их далее, теперь же скажу то, что подсказывает мне память. Первое с ним знакомство устроено было для моей матери одной общей приятельницей<sup>33</sup>... Как и вся читающая публика того времени, мать моя очень ценила его ум, в особенности его знания и остроумие. Она высоко ставила литературные его заслуги и желала отдать свои произведения именно в «Библиотеку для чтения». Однако первое свидание с ним не оставило в ней приятного впечатления.

«Наконец, видела я Сенковского! – пишет она от 25 сентября 1836 года. – Вот образец безобразия!.. Нельзя верить, чтоб это был сочинитель чувствительного рассказа: “Любовь и смерть” и уморительного “Путешествия”<sup>34</sup>. Холодная, серьезная наружность немного напоминает вице-губернатора Иванова; только тот в сравнении – красавец!..»

Если принять во внимание, что г. Иванов всегда служил матери моей, и сестрам, и знакомым ее образцом смешной уродливости, то сравнение не представляется лестным для барона Брамбеуса... Приведу уж сряду, хотя для этого приходится забежать вперед, остальные два указания на Сенковского, находящиеся в 18 письмах Е.А.Ган, хранящихся у меня, чтоб раз навсегда с ним покончить.

В письме (без числа), писанном после пребывания ее в Петербурге зимою с 1837 на 1838 год, когда она уже решила оставить «Библиотеку для чтения», она говорит:

«Я получила два предложения: писать в “Отечествен[ные] записки” и в “Сын Отечества”... Недавно кончила небольшую повесть, которая, по мнению Петра<sup>35</sup>, Антонии<sup>36</sup> и моему

<sup>30</sup> Карл Павлович Брюллов (1799–1852) – художник.

<sup>31</sup> Самойлова Юлия Павловна (1803–1875) – графиня, знакомая К.Брюллова.

<sup>32</sup> Николай I (1796–1855) – российский император (с 1825 г.).

<sup>33</sup> Кажется, Н.П.Кузовлевой, бывшей тогда лектриссой у одной из великих княгинь. – *Примечание В.П.Желиховской.*

<sup>34</sup> Речь идет о книге «Фантастические путешествия барона Брамбеуса», впервые вышедшей в 1833 г.

<sup>35</sup> П.А.Ган.

<sup>36</sup> Антония Христьяновна Кюльвейн. – *Примечание В.П.Желиховской.*

собственному, лучше всех написана. В ней ум мой молчал, а говорило сердце... Немногие, знающие меня коротко, узнают много моего; остальные прочтут хорошо написанную повесть. Думаю послать ее в "Сын Отечества", чтобы избежать переправок (Сенковского), которые совершенно разрушают гармонию целого»...

Изуродованного конца «Утбаллы»<sup>37</sup> в «Библиотеке для чтения» мать никогда не могла простить! И, действительно, оно было ужасно неловко и безвкусно измышлено! Да и без малейшей нужды: конец, написанный Зинаидой Р-вой (Е.Ган), был бесконечно лучше во всех отношениях, и поэтичнее, и натуральнее. Это была последняя капля, переполнившая меру ее терпения... Года через три после этого небрежность, с которой автор таких замечательных вещей, как «Фантастическое путешествие», «Большой выход сатаны» и пр. рассказы лучшего времени барона Брамбеуса, стал относиться к своим беллетристическим произведениям, окончательно возмутила его бывшую названную ученицу. Вот несколько слов из письма ее от 15 января 1842 года.

«Ну, удружил Сенковский публике так давно обещанным романом! Что за вздор!.. И что за слог! Неужели он потерял все, даже свое остроумие?.. Осталась лишь пошлая брань да критика на старых сплетниц»...

О каком романе речь – я точно не знаю; но все, еще помнящие печальное падение собственно *беллетристического* таланта Сенковского, должны согласиться, что мать моя была права в своем осуждении недобросовестного отношения его к читателям «Библиотеки» и почитателям его таланта. Недаром она всю жизнь свою благоговела и преклонялась перед поэзией и ее представителями в стихах и прозе!.. Она ли не ценила эстетических удовольствий, не любила живописи?.. А раз, приехав на выставку картин, которую очень желала видеть, – она не видела ни одной из них, – неожиданно заметив... Но пусть говорит она сама за себя:

«Я вдруг наткнулась на человека, который показался мне очень знакомым... Иван Алексеевич в то же время сжал мне руку, указывая на него глазами, и при втором взгляде сердце у меня крепко забилося... Я узнала – *Пушкина!*.. Я воображала его черным брюнетом, а его волосы не темнее моих, длинные, взъерошенные. Маленький ростом, с заросшим лицом, он был бы некрасив, если бы не глаза. Глаза – блестят, как угли, и в непрерывном движении. Я, разумеется, забыла картины, чтоб смотреть на него. И он, кажется, это заметил: несколько раз взглядывая на меня, улыбался... Видно, на лице моем изображались мои восторженные чувства!..»

Но, преклоняясь пред чужими талантами, мать моя и сама все чаще обращала на себя внимание общества и делалась предметом праздного любопытства. Но она этим сильно тяготилась... Усиленная застенчивостью скромность ее не допускала ее верить искренности комплиментов или восторженного внимания: она склонна была подозревать в них насмешку, даже недоброжелательство... В глухой провинции, где ей по большей части приходилось жить, она точно бывала часто предметом зависти и глупых измышлений. Так раз один молодой доктор, искренний поклонник ее таланта, но мало знавший еще ее лично, насмешил ее до слез.

Господа помещики окрестных сел, где расположена была батарея моего отца, – вернее, их досужие супруги, – уверили его, что она учится «у *попа латыни и греческому языку*»... Тот возьми да и разбежись к ней с сатирами Ювенала<sup>38</sup> в подлиннике... Можно было бы принять эту выходку за насмешку, если б не искреннее изумление доктора, когда мать моя, изумившись не менее его, объявила, что ни аза не смыслит в древних языках... «Удивляюсь! – писала она на другой день. – Откуда и за что такое недоброжелательство?.. Чего хотят от меня народы, нас окружающие?.. Уж я ли не веду в отношении их, поистине, святую жизнь?.. Принимаю их со всевозможной учтивостью, даже с излишним вниманием, лишая себя времени, стараясь занимать их и сама интересоваться их беседой... А они, вот, вместо спасибо, смотрят на меня как на ярмарочное пугало, на змея во фланели; друг другу показывают, зазывают, чтоб мною попотчевать: вот вам та самая, что пишет, как в книжках печатают! Да еще сами же и наплетут небылиц!»

<sup>37</sup> Библиотека для чтения, 1837, т. 20.

<sup>38</sup> Децим Юний Ювенал (ок. 60 – ок. 127) – римский поэт-сатирик.

Бедной матери моей приходилось расплачиваться за то, что она опередила свой век: женщина-писательница в то время еще была диво дивное! Во Франции – Жорж Санд<sup>39</sup>; в России – она да родственница ее кузин Сушковых – графиня Растопчина<sup>40</sup> – вот и весь, почти, счет храбрым пионеркам по тернистому пути, который они сгладили, «на свой кошт», многим сотням последовательниц.

Но, бесспорно, бывали и приятные для самолюбия минуты и знакомства, возникавшие из-за обоюдно искренних чувств, доставлявшие матери моей истинных доброжелателей, поклонников ее таланта. Таково знакомство ее с Бенедиктовым<sup>41</sup>, Подолинским<sup>42</sup>, Сенковским, Полевым<sup>43</sup>, Гамалеем и со множеством чуждых литературе, более или менее светских, влиятельных или частных, но всегда умных людей.

Так, она пишет в одном из своих непрерывных посланий к страстно любимой ею матери, что в одном большом столичном обществе какая-то старушка прочла ей (т.е. бабушке моей, Е.П.Фадеевой) восторженный панегирик за то, что «она в такой глуши, без больших средств, без учителей сумела так воспитать и образовать своих детей»... Будь мать моя мелочней и самолюбивей, она еще чаще и больше удовлетворялась бы своими успехами. Но она, хоть и радовалась им, но все же, повторяю, тяготилась их явными проявлениями, в особенности, если не была вполне уверена в искренности их. В бумагах ее осталось множество посвященных ей в разное время, более или менее известными поэтами, стихов, но она никогда о них не говорила. Единственное стихотворение, о котором она с удовольствием рассказывает в письме к сестре своей, это послание к ней Бенедиктова при поднесении им своих сочинений.

Прожив несколько месяцев в Петербурге, часто бывая у своих многочисленных родственников, мать моя ближе всего сошлась с двоюродной сестрою, Кат[ериной] Ал[ександровной] Сушковой.

Во многих ее письмах есть похвалы ей, сожаления о печальной судьбе этой умной, красивой, по-тогдашнему уже немолодой девушки, жизнь которой была разбита неудачною привязанностью к Лермонтову<sup>44</sup>, – человеку, который ею потешался и не затруднился, поиграв ради особых целей ее чувствами, равнодушно от нее отвернуться. Впоследствии, много лет спустя, Катерина Александровна Хвостова совершенно иначе говорила об отношениях к ней этого человека в своих печатных воспоминаниях<sup>45</sup>, в которых, вообще, большую роль играет фантазия... Если она *фантазировала* и в тех записках или, вернее, в том дневнике, который давала читать моей матери в 1836 году, пусть сама примет и ответственность за нарекания на человека, прославленного гениальным талантом, имя которого никогда не умрет в России.

Сначала Катя Сушкова показалась матери моей суетной и слишком светски пустой девушкой; быть может, мнение это составилось вследствие того, что тетушки ее, из которых одна еще очень молодилась, сами чрезвычайно любили свет и жили открыто. У них была вечная сутолока *beau monde*'а<sup>46</sup>, из которого многие были в родстве; другие, состоя в свойстве с Сушковыми, Беклешовыми и пр., даже не через Долгоруких, а с другой стороны, все-таки настаивали на том, что они и с матерью моей *свои*, и чрезвычайно заискивали и ласкали ее. В этом хаосе родственных объятий она сначала не могла разобраться; но потом обошлась и повинулась в том, что ошиблась, считая кузину пустой и ветреной девушкой. Та, прежде всего, уверила ее, что очень несчастна; что отнюдь не по влечению ведет такую суетную жизнь, а из угождения теткам, да отчасти для того, чтоб никто не мог даже подозревать об ее несчастьи... Узнав *правду*, в ней

<sup>39</sup> Жорж Санд (наст. имя Амандина Аврора Люсиль Дюпен, 1804–1876) – французская писательница.

<sup>40</sup> Растопчина Евдокия Петровна (1811–1858) – поэт, писательница, переводчица, драматург, двоюродная сестра Е.А.Ган.

<sup>41</sup> Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807–1873) – поэт и переводчик.

<sup>42</sup> Подолинский Андрей Иванович (1806–1886) – поэт.

<sup>43</sup> Полевой Николай Алексеевич (1796–1846) – писатель, драматург, критик, журналист, историк и переводчик.

<sup>44</sup> Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) – поэт, прозаик, драматург, художник.

<sup>45</sup> Записки Екатерины Александровны Хвостовой, рожденной Сушковой. 1812–1841. Материалы для биографии М.Ю.Лермонтова. СПб., 1870.

<sup>46</sup> высшего света (*фр.*).



увидали бы *жертву!* – это было бы слишком оскорбительно для ее самолюбия!.. Наконец, ей необходимо бывать много в свете для того, чтоб сделать блестящую партию... Она теперь выйдет не иначе, как по расчету, «pour avoir un avenir assuré»<sup>47</sup>. Так не раз говорила она моей матери (что не помешало ей потом выйти замуж за человека совсем не богатого и не особенно чиновного)... Кончилось тем, что она дала ей прочесть свой дневник. Вот рассказ о том моей матери своей сестре<sup>48</sup>.

«С Катей я довольно сошлась, она меня полюбила и дала тайную историю своей жизни. Большая тетрадь, а то бы я переписала... Вот участь необыкновенная!.. Редкий в романах случай. Нечего писать о себе, скажу о ней. Четыре года тому она жила в Москве. Там прельстился ею молодой князь, Michel (фамилии не знаю), очень богатый. Но его отец противился их браку, как по ее малому состоянию, так и по его молодости: ей было 18 лет, ему – 20 лет. Она не чувствовала к нему ни любви, ни отвращения; но желала выйти за него для его пяти тысяч душ. Но так как он был хорош, умен, то кончилось тем, что и он ей понравился. Она чрезвычайно подружилась с его кузиной Александриной, которая в ней, казалось, души не слышала. Вот с весной она покидает Москву... Князь Michel клянется ей, что будет столетия ждать, если она обещает ему ту же верность, и они расстаются.

Не проходит полугода, Александрина пишет ей, что старый князь, отец Мишеля, умер, а сам он просит ее позволения явиться к ней в Петербург. Катя отвечает согласием, и он приезжает... Первое свидание очень нежно! Марья Васильевна (тетка ее) была больна, а потому он сразу не объявляет своих требований...

Вместе с князем приехал его родственник, молодой офицер, лейб-гусар... Его я знаю лично, его зовут – Лермонтов. Умная голова! Поэт, красноречив. Не хорош собою, какое-то азиатское<sup>49</sup> лицо; но южные, пламенные глаза, и ловок, как бес!.. Он увивается около Кати, она обходится с ним как с будущим родственником, он бывает часто, ежедневно. Князь бывает реже, и она замечает, что какое-то облако мрачит его душу. Она допрашивает, но он молчит, отговаривается недавней потерей отца...

Так проходит два месяца.

После тяжелой болезни М.В.Беклешова медленно оправляется, князь молчит и с Катей заметно холодной... А Лермонтов окружает ее всеми сетями: грустит, изливает жалобы и в прозе, и в стихах, и, наконец, открывает ей, что день ее свадьбы с князем будет его последним днем!..

Она и прежде его предпочитала, но тут ее голова пошла кругом! Она перестала искать причины охлаждения князя, всей душой предалась Лермонтову, и – бедняжка! – как он умел опутать эту невинную душу! Чего не употреблял, чтобы доказать ей, как мало князь достоин ее!.. Как сыпал элегиями и поэмами, – он здесь известный поэт, но по странной прихоти ничего не печатает, – смешил и трогал – успел!.. Она полюбила его со всею страстью первой взаимности.

Князь уехал не простясь, – она о нем и не тужила.

После его отъезда, всю остальную часть зимы Лермонтов был так же страстен. Весна призвала его в лагерь, ее – в деревню. К осени они сошлись: она все та же! Он с холодным поклоном вежливости, она глядела со слезами ему в глаза. Он спрашивал ее о здоровье, бывал у них довольно часто, но о прежнем – ни слова!.. Она терялась в догадках. Мучилась, плакала и решила спросить о причине его поведения.

Это было на балу. Он отвечал с порывом прежней страсти, что есть причина, по которой он *должен* молчать, но... может ли измениться?!

Она вновь счастлива, но с первым балом он не глядит на нее, берет слово танцевать<sup>50</sup> с ним мазурку и в начале танца приглашает незнакомую, сидящую подле нее. Не могу описать, как играл он ею, то говоря о любви, то притворяясь холодно ничему не верующим. – Наконец, когда она потребовала от него решительного разрешения загадки, вот что Лермонтов отвечал ей:

<sup>47</sup> чтобы иметь обеспеченное будущее (*фр.*).

<sup>48</sup> Витте Екатерина Андреевна (1819–1898) – сестра Е.А.Ган, тетья Е.П.Блаватской и В.П.Желиховской.

<sup>49</sup> азиатское (*устар.*).

<sup>50</sup> танцевать (*устар.*).

– Mon Dieu, mademoiselle! Peut être vous aime-je, peut être non! Je n’en sais rien, vraiment!.. Et qui ne peut se ressouvenir de toutes les passions de l’hiver passé?.. Je tombe amoureux pour tuer *le temps* et non *la raison!* – Faites comme moi et vous vous (en) *trouverez bien*<sup>51</sup>.

Она вздрогнула (продолжает мать свое описание) и посреди тысячи особ слезы ручьем полились из глаз, он захохотал...

Месяц не выезжала она, все дяди и тетки вооружились против нее, она выходила только в церковь, которая против их дома, но и там столько плакала, что священник несколько раз подходил спрашивать ее о причине.

В это время тетка ее получает анонимное письмо, образец искусства, будто бы от неизвестного, где Лермонтов описан самыми черными красками, где говорят, что он обольстил одну несчастную, что Катю ожидает та же участь, “*car il possède l’art diabolique de se rendre prestigieux, car il est un démon, dont la sphère est le mal! Le mal sans intérêt personnel, le mal – pour le mal même!*...”<sup>52</sup>.

Катя узнала в этом письме почерк самого Лермонтова!.. Она смолчала. Но какова была сила любви ее к человеку, так жестоко ею потешавшемуся, можно судить по тому, что, когда родные ее отказали ему от дома, а ее принудили выезжать, при первой же встрече с ним в свете она не сумела от него отвернуться. Он подошел к ней.

– Dieu, que vous êtes changée! Quel peut être le mal, qui a effacé vos belles couleurs<sup>53</sup>!

Он глядел на нее с участием. Искра жизни закралась в ее душу.

– Voulez-vous, – продолжает Лермонтов, – m’accorder la mazurque, j’ai à vous parler<sup>54</sup>!

И она все забыла! Она предалась надежде, что, быть может, то было испытание, тяжелый сон, а отныне все пройдет...

Но настала мазурка, с каким волнением села она возле него, а он, после долгих приготовлений, сказал:

– Dites, n’êtes-vous pas amoureuse, par hasard, de qui donc? Est-ce de<sup>55</sup>... – и он начал считать некоторых ее знакомых с колкими насмешками на ее счет.

Она сидела, молчала, но уже не выезжала более и весной поехала в Москву на свадьбу Растопчиной. С Александриной, родственницей бывшего жениха своего, князя Мишеля, они там встретились очень дружески. Они всегда были в переписке, так что той был известен весь печальный роман ее; тут же, при личном свидании «с другом», Катя вновь все ей рассказала, наивно изливая ей все свое сердце... Раз, приехав рано к Александрине, Катя прошла прямо к ней в комнату, пока хозяйки дома были очень заняты в гостинной приемом важной родственницы. На столе была опрокинута открытая шкатулка с грудой вывалившихся из нею писем... В глаза ей метнулась ее имя в письме, написанном рукой слишком знакомой... Она взяла и прочла<sup>56</sup>:

(Перевод). “Будьте спокойны, милая кузина, – писал Лермонтов своей родственнице Александрине, – Мишель никогда не женится на М-лле Сушковой. Я играл двойную игру, которая удалась мне превосходно. Кокетство М-лле Сушковой хорошо наказано! Она так очернена в глазах Мишеля, что он к ней чувствует одно презрение; мне же удалось лестью вскружить ей голову и даже внушить ей страсть, которая мне неприятна... Не так-то легко будет мне от нее отделаться! Зато цель наша достигнута, а что касается до М-лле Сушковой, – будь с ней, что будет!..”

Тогда только Катя поняла, что бедные родственницы князя, Александрина и мать ее, живя с ним вместе и на его счет, отнюдь не желали, чтобы он женился, да еще на девушке без состояния.

---

<sup>51</sup> Боже мой, мадемуазель! Может быть я вас и люблю, а может быть и нет!.. На самом деле, я не знаю! И кто не сумеет припомнить все увлечения прошлой зимы?.. Я влюбляюсь, чтобы убить *время*, но не *рассудок!* – Действуйте, как я, и вы себя будете *чувствовать* хорошо (фр.).

<sup>52</sup> «потому что он обладает дьявольским искусством быть чарующим, поскольку он демон, сферой которого является зло! Зло без личных интересов, зло ради самого зла!..» (фр.).

<sup>53</sup> Господи, как вы изменились! Что за несчастье стерло все ваши краски (фр.).

<sup>54</sup> Не оставите ли вы за мной мазурку, мне надобно с вами поговорить (фр.).

<sup>55</sup> Скажите, Вы часом не влюблены, в кого же? Не в (фр.).

<sup>56</sup> Далее текст на французском языке, который здесь не приводится.

Катя имела власть над собою, и когда Александрина возвратилась, она сказала ей, показывая письмо:

– Ты видишь, я могу обнаружить ваши подлости, я могу завтра же сойтись с князем, объяснить ему ваше поведение, могу восторжествовать над вами, но я лучше хочу презреть вас и доказать, что есть в мире благородные чувства, о которых вы забыли!

Князь снова ухаживал за ней, но она была с ним холодна.

Этим все кончилось, но не кончилась ее любовь. Она, сознавая вполне все неблагородство поступков Лермонтова, еще любит его. Два года прошло после этой истории, но она не может принудить себя встречаться с ним равнодушно. Он, в редких встречах с нею, говорит с ней, танцует как ни в чем не бывало!.. Я видела его несколько раз и дивилась ей!.. О вкусах, конечно, не спорят; но он, по крайней мере, правду сказал, что похож на сатану... Точь-в-точь маленький чертенок с двумя углями вместо глаз, черный, курчавый и вдобавок в красной куртке».

Из последнего замечания моей матери я ясно вижу, что она не была знакома и вряд ли когда-либо разговаривала с творцом «Мцыри» и «Демона», а тем менее читала его произведения, тогда ходившие лишь в рукописях. Иначе она не удивлялась бы вкусу своей кухни и поняла бы, что Лермонтовых любят не за наружность!.. Во всяком случае, он сыграл незавидную и печальную для своей славы роль в истории юности моей двоюродной тетушки... если только она не *вполне* увлекалась своей в то время, вероятно, сильной романической фантазией и не ввела мою мать в невольное заблуждение.

Если рассказ этот ложен, – да простит Господь Бог Екатерине Александровне Хвостовой! А мне да простит сам славный поэт приведение в известность рассказа, бросающего на него тень нареkania.

Матери моей часто приходилось встречаться со знаменитостями того времени, и почти все они изумляли ее безобразием, не соответствовавшим блестящему понятию, которое она издала о них себе составила. В самом деле, странно, что лучшие представители блестящего литературного периода 1830-х годов наружным благообразием далеко не блистали!.. Пушкин, Лермонтов, Бенедиктов, Сенковский. Стоит вспомнить их портреты, чтобы не дивиться удовольствию, с которым мать моя описывает следующую встречу:

«В последний раз на выставке один юноша привлек все мое внимание. Очень высокий, очень худой, ни дурен, ни хорош, но было в нем нечто особое... Маленькое, бледное лицо; только черные большие глаза поразили меня необыкновенным выражением; да еще, что среди тысячи завитых голов его волосы, длинные, черные, свободно развевались вокруг головы. Много тут было вельмож в звездах и лентах, и все подходили к нему и жали ему руки... Долго я смотрела на него догадываясь... Наконец, Иван Алексеевич также подошел к нему: “Нестор Васильевич!” Тут я узнала, что мои догадки справедливы: Кукольник! *На нем* видна печать гения!..»

Наконец-то, после долгих призывов матери моей, просьб и напрасных ожиданий дождалась она желанного приезда отца своего и сестры. Прожив еще с ними некоторое время в Петербурге, она, с ними же вместе, его оставила и провела весну 1837 года в Астрахани; а оттуда поехала с родными своими и двумя дочерьми чрез калмыцкие степи на кавказские минеральные воды, в то время как отец мой оставался в Малороссии при своей батарее. Путешествие принесло большую пользу тем, что подкрепило начинавшее уже расстраиваться здоровье матери; развлекло ее, порадовав свиданием с нежно любимой матерью и продолжительным пребыванием в семье родительской, за которой она не переставала тосковать со дня разлуки, и возбудило в ней много поэтических замыслов. Плодом их вскоре явились новые повести: «Утбалла», «Воспоминание о Железноводске» и пр. Но писать их ей снова пришлось в далеком захолустье, среди неудобств нравственного одиночества и материальных лишений, неотвратимых в обстановке тех несчастных хуторов и жидовских местечек, где ей приходилось жить, следуя за перемещавшеюся по стоянкам батареею отца.

Впрочем, к этому времени судьба несколько сжалилась над нравственным одиночеством моей матери, послав ей преданную до самозабвения добрую душу в лице молодой девушки, вступившей в дом наш просто воспитательницей, но скоро обратившейся в лучшего друга и

деятельную помощницу его хозяйки. То была уроженка Курляндии, безродная сирота Антония Христиановна *Кюльвейн*. Судьба этой прекраснейшей женщины, которой я, лично, обязана более, нежели кто-либо в семье нашей, так как она была единственной моей воспитательницей и наставницей, поистине замечательна. В детстве она извела все горе, которое может пасть на долю ребенка, преданного во власть грубой и злой мачехи<sup>57</sup>. Раз выгнанная ею из дому в крещенскую стужу, она едва не замерзла. Найденная кистером<sup>58</sup> их церкви на своем пороге в бесчувственном состоянии, она более не возвращалась в родительский дом, где вскоре все перемерли от холеры, кроме одного старшего ее брата, служившего в Петербурге. Ему ли или деду ее, пастору, пришла благая мысль записать ее кандидаткой в Екатерининский институт, но ей в этом отношении удивительно посчастливилось: она попала туда на казенный счет. Добрые люди отвезли сироту, и вот, учась превосходно, она кончила курс на первый шифр. За нею следовала кандидаткой на награду девушка одной из лучших фамилий в России; но к величайшей чести тогдашнего начальства оно не хотело сделать несправедливости, хотя различия в отметках обеих институток было очень мало...

Между тем государыне и даже самому государю Николаю Павловичу было желательно, чтоб будущая фрейлина их двора имела первый шифр... Начальство доложило, как и что; довело до царского сведения о преимуществах бедной, безродной сироты над богатой, титулованной соперницей по правам... И вот раз, пред самым актом, Государь заехал в институт, вышел в сад к гулявшим воспитанницам и вдруг, подозвав к себе будущую шифрницу, ласково заговорил с нею, хвалил ее успехи и расспрашивал, что думает она делать по выпуске? Куда ехать? Чем заниматься?... Она отвечала, что, не имея семьи, определенных планов не имеет, а желала бы найти место учительницы...

Государь вдруг спросил:

– Не приятней ли было бы тебе вместо шифра получить пожизненную пенсию?

Девушка оторопела и не знала, что отвечать.

Государь улыбнулся и ласково объяснил ей, что если она хочет, то вместо обыкновенной институтской награды, она, сохраняя все права, которые дает первый шифр, вместо него получит от него самого на всю жизнь обеспечение от нужды. Нечего и говорить, как охотно она согласилась и как была всю жизнь благодарна за царскую милость!.. Первый шифр получила княжна<sup>\*\*\*</sup>, а Антония Кюльвейн, вместо него, получала ежемесячно 35 р[ублей] царской пенсии. Она до такой степени удовлетворяла ее скромным нуждам, что Антония Христиановна никогда ничего не хотела получать в вознаграждение за свои труды от матери моей; и после смерти ее точно так же жила при нас у бабушки и деда Фадеевых, в доме которых мы выросли и где прожила она до самой своей смерти в 1850 г. В семье моей матери все искренно любили ее и уважали, но до поступления к нам, по выходе ее из института, ей еще пришлось много натерпеться, мытарствуя по чужим домам. Из последнего своего убежища в доме одной богатой помещицы легкого поведения, вздумавшей сваливать свои эротические прегрешения на бедную наемную сироту, Антония просто сбежала; а раз попав к матери моей, сочла себя в царствии небесном и привязалась к ней страстным, восторженным обожанием.

Она помогала матери моей во всем, ухаживала за ней во время частых ее болезней, переписывала ее сочинения; а нами, детьми, овладела безапелляционно, в особенности мною, которую и учила сама, и обшивала с головы до ног, вплоть до пятнадцатилетнего моего возраста, до дня своей кончины. Все воспоминания моего детства и отрочества неразрывно связаны с этой чудесной женщиной, вся жизнь которой была одно самоотвержение! Она научила меня грамоте и приучила к самостоятельному труду; она же первая указала мне, чем мы обязаны матери, – открыла значение и цель ее постоянных трудов; а позже развила меня нравственно, вложила в сердце мое и в нем укрепила все, чем была я сильна и утешена впоследствии, в години испытаний.

---

<sup>57</sup> мачехи (*устар.*).

<sup>58</sup> Кистер – младший служитель в лютеранской церкви.

К весне болезнь матери моей настолько осложнилась, что потребовала серьезного внимания; ее послали в Одессу, где только что открылось учреждение минеральных вод. Она поехала туда с нами и Антонией охотно, потому что очень любила Одессу и, кроме того, рассчитывала там приискать для нас англичанку, – что составляло ее заветную мечту; но, обессилевшая болезнью и расстроенная нравственно многими тревогами и печалью, она впервые там скоро соскучилась.

«Пыль, ветер, жар – вот все, что могу сказать вам об Одессе! – пишет она в Астрахань от 1 июня 1839 г. – Всякое утро бегаю по саду (городскому, где и ныне находится водолечебное заведение) одна одинешенька в толпах разряженных дам и перетянутых кавалеров, пью горячую, препротивную воду; а набегавшись до боли ног, сижу дома и читаю. А голова все болит! И болит!.. Et voilà mes uniques plaisirs d'Odessa<sup>59</sup>!.. На бульвар выхожу только ночью, когда все разойдется. Не могу выразить, какое неприятное ощущение производит во мне толпа! Мне неловко, душно и тяжело! Все кажется, будто враждебно смотрят на меня... К тому ж и здесь меня преследует мой *cauchmar*<sup>60</sup> – мое авторство!.. Не раз уж мне случалось слышать на водах: “La voilà! C'est elle!..”<sup>61</sup> И затем название одного из моих литературных деток... Неприятно перестать быть самой собою, а сделаться общим достоянием и целью взглядов... На Кавказе случалось то же; но было больше русских и больше благоволения... А здесь смотрят просто как на крокодила во фланели или на танцующую обезьяну»...

Она нигде не хотела бывать, хандря и болея, но ее разыскали знакомые, осаждали приглашениями и неловко, прямо высказывая, что зовут не ее просто в гости, а «*писательницу напоказ*», еще более ее раздражая...

«*Escoutes*<sup>62</sup>! Ах, как я рада! Я уже слышала, что вы здесь, – поймала ее на улице одна знакомая. – *Escoutes!* Без церемонии: завтра к нам обедать!.. У нас будут несколько человек, которые *ужасно желают вас увидеть!*.. Особенно наш родственник, Подолинский. Он только что вернулся из Петербурга. Там какой-то Сенковский ему так много говорил о вас, что он чрезвычайно желает познакомиться с вами»...

Мать моя отказалась от обеда-выставки и едва не потеряла случая познакомиться с поэтом, которого очень уважала. Любимым собеседником ее того времени был архимандрит Порфирий<sup>63</sup>, лечившийся минеральными водами так же, как и она. Он все уверял ее, что она больна потому, что слишком много работает мозгом, злоупотребляет духовными силами и читал целые лекции о влиянии воображения на организм человека.

Несмотря, однако, на свою временную нелюбимость, мать моя получала столько внимания и даже оваций от одесского общества, что ей пришлось пересилить себя и выезжать довольно часто и самой принимать гостей, всегда незваных, но часто очень интересных. Чаше других бывал у нее *Княжевич*<sup>64</sup>, тогдашний попечитель одесского округа. Он приводил к ней многих представителей науки и литературы, желавших с нею познакомиться.

«Снова был у меня *Княжевич*, – пишет она в одном из частых писем к сестре. – Сидел предолго и просил позволения представить мне Надеждина<sup>65</sup>, бывшего издателя “Телескопа”. Я, разумеется, очень рада... Вообще, я здесь столько получаю *hommages*<sup>66</sup> и всякой лести, что не только за прошлую зиму в Каменском<sup>67</sup>, но и в задаток на будущую хватит, которую я намерена провести также уединенно. Ты любишь стихи Бенедиктова? Потому я много буду говорить о нем.

---

<sup>59</sup> Вот и все мои одесские удовольствия (*фр.*).

<sup>60</sup> кошмар (*фр.*).

<sup>61</sup> «А вот и она! Это она!» (*фр.*).

<sup>62</sup> Слушайте (*фр.*).

<sup>63</sup> Епископ Порфирий (в миру Константин Александрович Успенский, 1804–1885) – епископ Чигиринский, востоковед, византолог и археолог; в 1838–1840 гг. ректор Херсонской духовной семинарии.

<sup>64</sup> *Княжевич* Дмитрий Максимович (1788–1844) – писатель, публицист, попечитель одесского учебного округа (с 1837 г.).

<sup>65</sup> *Надеждин* Николай Иванович (1804–1856) – филолог, философ, критик, этнограф, журналист, издатель литературно-общественного журнала «Телескоп» в 1831–1836 гг.

<sup>66</sup> похвал (*фр.*).

<sup>67</sup> Село Каменское Екатеринославской губернии.

Княжевич привез его ко мне на другой же день после первого своего визита. Он был здесь проездом, я это знала, но совсем не ждала его посещения. Когда попечитель назвал его, у меня руки опустились... Я подумала: не мистификация ли это?.. Вообрази себе создание тощего севера, Олонецкой губернии, – маленького человечка с серыми, блестящими глазами и русыми волосами. Он заговорил... Не вообразишь ничего карикатурнее!.. Нос – выворочен, губы как-то странно завертываются!.. Еще молодой человек... Княжевич большой говорун, сидели они долго, и о чем мы не переговорили?.. Но об уме Бенедиктова, по этому первому разу, я не могла судить: он так застенчив, даже неловок. Говорит тихо, будто с боязнью взвешивает слова».

На другой день мать моя была очень занята по поводу прибытия из Лондона выписанной ею англичанки. У нее разболелась голова... Она перед обедом пошла пройтись и взять ложу в оперу, а когда возвратилась ей подали визитную карточку Бенедиктова, о чем она очень сожалела, думая, что он заезжал проститься. Однако нет: на следующий день он снова явился, извиняясь, что так часто отымает у нее время, и просидел часов пять. Тут она имела время убедиться в его положительном уме, не острословном, но наблюдательном и тонком...

«Да! Можно забыть его дурноту! – говорит она далее. – Нельзя не полюбить его за любовь его к России, ко всему русскому. Как он жаловался, что в Петербурге напыщенные фразы французских романистов до того приучили вкус публики к фальшивым, крикливым тонам, что ей не нравятся теперь ни Шекспир<sup>68</sup>, ни Шиллер<sup>69</sup>!.. Много, много мы с ним говорили...»

Он рассказывал ей много анекдотов того времени из действительной жизни. О поэте Степанове<sup>70</sup>, который был в то же время и живописец и всю свою квартиру обвешал очень меткими карикатурами на людей своего мира, литературы и художеств. Изобразил, например, Греча<sup>71</sup> со сложенными по-наполеоновски руками в виде статуи на пьедестале из томов его грамматики; из-под полы его Полевой в виде шавки брасается кусать Сенковского за икры, а Греч спрашивает: «Сие вам причиняет боль?..»

На что Сенковский, обороняя свои икры, отчаянно кричит: «Ах! *Это! Это!*.. Бога ради – *это!*..» Потом поэта Соколовского<sup>72</sup> Степанов нарисовал сливающим тщательно капли вина из множества бутылок на том основании, что – «и мир составил из ничего», а капли – «*фундамент мироздания!*..».

Он уверял, что мало знаком с современной беллетристикой, читая только ее повести... Когда же мать моя отвечала, прося у него, вместо комплиментов, серьезных замечаний, он отвечал приблизительно так:

«Вы знаете, что я поэт и поэт в душе. Пусть журналисты разбирают по составам вещи, я же просто читаю, наслаждаясь целым: вашим сильным слогом, прелестною женственностью ваших героинь, полнотою характеров, живописными картинками природы в ваших описаниях... Читаю, благодарю мысленно автора за час удовольствия и не отравляю его мелочным разбором».

На другое утро (29 июня) Бенедиктов снова был у моей матери, привез ей свои сочинения, простился и прямо от нее отправился на пароход, уходивший на Кавказ. На заглавном листке книги он написал ей стихи, которые мать мою очень порадовали.

Передаю их здесь, так как они, кажется, никогда не были напечатаны:

---

<sup>68</sup> Шекспир Уильям (1564–1616) – английский поэт и драматург.

<sup>69</sup> Шиллер Фридрих (1759–1805) – немецкий поэт, философ, теоретик искусства и драматург.

<sup>70</sup> Николай Александрович Степанов, впоследствии изд[атель]-редактор журнала «Искра». – *Примечание В.П.Желиховской.*

Степанов Николай Александрович (1807–1877) – художник-карикатурист, в 1859–1864 гг. вместе с поэтом В.С.Курочкиным издавал сатирический журнал «Искра».

<sup>71</sup> Греч Николай Иванович (1787–1867) – писатель, редактор, журналист, публицист, филолог, переводчик, основатель и издатель исторического, политического и литературного журнала «Сын отечества» с 1812 по 1839 г.

<sup>72</sup> Соколовский Владимир Игнатьевич (1808–1839) – поэт.

Елене Андреевне Ган

От ранних лет судьба мне указала  
Унылый, трудный жизни путь,  
Мне чашу горести пить в тайне завещала  
И сила высшая мне долго ограждала  
Молчанием уста и крепостию грудь.  
Я не высказывал печали,  
Я сердце прятал от людей...  
Своею милостью они меня терзали,  
Пугали ласкою своей!  
Но чувствам замкнутым приют в груди стал тесен  
И, одичалые в глуши,  
Они расторгли грудь!.. И звуки робких песен  
Случайно вырвались из трепетной души...  
И все, что рок мне знать и чувствовать дозволил, –  
Обманчивый восторг, и горькую любовь,  
И радость, и печаль, – я все из сердца пролил.  
И сердце стало пусто вновь!  
И вот немногие страницы,  
Вот те убогие листы,  
Где ввел я в мерные границы  
Души заветные черты.  
Здесь – быстрой юности живые заблуждения,  
Златые грезы бытия  
И сердца тщетные волнения –  
Все – чем богат, чем беден я!  
Примите все: мечты мои и слезы!  
Примите очерки и чувств, и дум моих,  
Где пред поэзией волшебной вашей прозы,  
Бледнея, гаснет каждый стих!

*Вл. Бенедиктов*

Одесса, 29 июня 1839 г.

Письмо, в котором мать моя передает своим это стихотворение, оканчивается так:

«Ах, если б скорее отсюда!.. Здесь я так разленилась, что ничего не могу ни делать, ни писать. Едва выучиваю свой английский урок в целый день... А мне надобно много работать, много трудиться, чтобы сделаться тем, чем провозглашают меня люди умные, но льстивые!»

И чтоб достигнуть этого, мать моя, не жалея своего здоровья, трудилась день и ночь. Она находила время, зарабатывая средства, чтоб давать нам гувернанток и учителей, сама постоянно учиться и языкам, и музыке ради того, чтоб свои знания впоследствии передать нам же.

Чем более оставляли ее физические силы, тем сильнее сказывалось стремление ее нравственного роста. Точно будто предчувствуя близкий конец земного существования, она спешила скорее достигнуть возможного усовершенствования. Да она и действительно предвидела близость своей кончины: непрерывные намеки на это в письмах к сестре, а позже и прямые указания на уверенность в этом ясно доказывают, что она сама ранее всех знала, что умирает. Она скрывала это от отца и матери, чтоб не огорчать их преждевременно; но других предупреждала года за три и ранее. Вот что пишет она осенью 1839 г.

«Я больна не одною душою, не говори никому, – но мое здоровье, видимо, разрушается. Мне кажется, я не наживу долго... Я такая больная, такая слабая, что почти ничего не могу делать.

Хорошо, если поправлюсь... А если нет? Если мне еще несколько лет так, – не жить, не умирать?.. Силы не позволят писать... Что будет с детьми?!» И далее: «Ради Бога, сожги это письмо, чтоб не попало оно мамаше. Не дай Бог мне и невольно огорчить ее...»

В двадцать четыре года эта женщина, пред которой едва открывалась жизнь, полная радужных надежд на успех, на славное будущее, зная, что умирает, ни разу не пожалела лично о себе, о своей гибнущей молодой жизни!.. По крайней мере, нет на то нигде указания. В самых задушевных ее письмах к близким, если где порой вырывается по этому поводу искренний порыв отчаяния, он весь, безраздельно, принадлежит ее детям.

«Меня винят за то, что я беру в дом гувернанток для того, чтобы совершенно освободиться от присмотра за детьми... Но что ж мне делать, если я не чувствую себя в силах образовать умы моих детей?.. Мои познания так неполны, так перепутаны; я желала бы дать им лучшие, основательнейшие знания... Что же касается до нравственности, я не поручу ее никому... Хотя сознаю, что в важнейшем ее проявлении, в религиозном воспитании, я опять-таки несостоятельна!.. Боже мой! Неужели я не понимаю всей разности внушений матери и чужой женщины! Но если бы я знала, что чужая понимает религию лучше меня, изучила ее не только памятью, но и сердцем, охотно бы я ей передала свои права ради блага детей моих!»

Говоря вообще о религиозном воспитании, мать моя отдавала преимущество воспитанию англичанок. Русские дети, по большей части, учатся молитвам от нянек или матерей и лепечут, не понимая их смысла... Далее законоучитель, объясняя суть догматов, редко развивает учением правильные понятия или твердые убеждения; еще реже вливает в детскую душу живую, благотворную веру и любовь к Создателю, эту незыблемую опору всей жизни человека... В молодости русские люди, русские женщины по преимуществу, молятся, постятся порывами; то с страстным увлечением предаваясь форме, «обожая архиереев», проливая слезы при стройных «концертах» архиерейских певчих, они полдня проводят в церквях; то забывают, при наплыве других впечатлений, церковь, молитву, самого Бога и по месяцам не перекрестят лба... «Что греха таить?.. Я сама, – говорит она, – по себе знаю эти порывы, эти бесплодные увлечения... Горько вспомнить, как в ту пору, когда мне наиболее нужна была вера, я забыла о ней, одеревенела, охладела!.. Она прошла эта пора животного прозябания, – я верую! Мне нужно верить, о, да! нужно! нужно!.. Но это потребность измученной души. Моя молитва теперь – слезы, раскаяние в прошлом равнодушии! Призыв помощи и опоры и, вместе с тем, сомнение в том, дойдет ли молитва моя до Господа?.. Желать ли мне перелить в душу моей дочери эти тревожные порывы? Эти произвольные стремления одних чувств, без твердой опоры убеждений?.. Нет!.. Эта молитва чаще жжет, нежели улаживает. Не такая нужна для сердца невинного, только что начинающего жить... Есть чудесная вера – светлая, яркая, понятная, где все легко уразуметь... Я видела ее у других. В той вере разум и понятия идут рука об руку с чувствами. Там душа любит то, чему учится память. Так все бытие проникается этою светлою верою. Ни один вопрос сомнения не возникает в душе; никакое горе, никакая радость не могут ни на мгновение заставить забыть о ней!.. О! если б мне сказали: “Вот особа, которая даст такую веру детям твоим, но заплати за нее жизнью!” – с радостью легла бы я сию же минуту в могилу»...

И это была истина. Эта умиравшая от *«силы души, убившей жизнь»* ее раньше времени, молоденькая женщина, чуть не с детских лет начавшая мыслить и работать над собой, десять лет из двадцати семи, всего ей данных Богом, протрудившаяся неустанно для пользы детей своих, еще терзалась своею несостоятельностью, своим бессилием одарить их нравственными благами и совершенствами, которых сама была лучшим примером!..

«Ты не знаешь, – писала она в последние годы своей жизни, – какие мучительные часы находят на меня! Как страшно смотреть мне в будущее бедных детей моих и думать, что их ждет?.. Какой страшный ответ лежит на мне за них пред Господом за то, что я не сумела оградить их, научить... Сколько бессонных ночей стоят мне размышления о моем нравственном бессилии; но что мне делать, Господи?.. Я так бессильна!.. Болезнь сделала меня такой раздражительной, нервной, что я не могу заниматься ими. С детьми ведь надо иметь характер спокойный, ровный, – не мой!»



Бедняжка все старалась оправдать себя в тяжком преступлении: в том, что, желая дать нам образование более последовательное и не имея ни сил, ни времени сама им заниматься, взяла нам гувернантку.

Это время памятно мне лично тем, что с этого пятого моего года во мне отчетливей пробудилось сознание и я последовательней помню все меня окружавшее. Помню, что я подолгу засматривалась на мать, когда она сидела по часам, меня не замечая, за своими бумагами. Я вглядывалась в нее, стараясь сообразить: как это она так умеет хорошо писать, что ей за это деньги платят, и что именно *теперь* она пишет?.. Меня очень это занимало, и я, бывало, покою не давала Антонии своими расспросами... Яркой картиной представляется мне также посещение наше Диканьки, имения кн[язей] Кочубеев<sup>73</sup>. Мать моя имела разрешение княгини, бывшей тогда за границей, пользоваться ее библиотекой и нотами и ездила иногда за свежими запасами книг. Меня поразили красивый дом и сад; но еще гораздо больше изумил старик-лакей в белом галстуке и с белыми волосами, показывавший нам дом. Он вдруг предложил моей матери посмотреть в альбоме рисунок самой княгини, «к книжечке вашей, сударыня, что “*Теофания Аббадджио*”<sup>74</sup> называется»...

Не я одна удивилась этим словам: мать моя этого никак не ожидала, и с большим любопытством и удовольствием, вместе с Антонией и Еленой, старшей сестрой моей, стала рассматривать картину.

Я тоже смотрела, пляясь, на цыпочках, и прекрасно помню фигуру женщины в белом с распущенными черными волосами на скале у моря... Волны разбивались у ног ее, а ветер разметал ее волосы, но она как будто ничего не замечала, глядя вдаль, в темное небо...

Я, разумеется, недоумевала; дергала Антонию за руку, шепотом допрашивая:

– Qu'est-ce qu'il dit, cet homme? Qui est cette dame<sup>75</sup>?.. – но она мне не отвечала тогда, а рассказала после.

Она слушала внимательно, как и все, рассказ старика. Прислушивалась и я. Он кончал так свою речь:

– Очень уж их сиятельству нравятся книжечки ваши, сударыня! Даже из журналов все, что вы писать изволите, они повырвали и в чудесный переплет отделать приказали... А уж про эту вашу самую «Теофанию» столько они разговаривали за столом и с гостями, что меня даже любопытствие взяло: попросил я у них дозволения и дали они мне прочесть про нее. А сами, изволите видеть, как прекрасно изволили ее изобразить!..

И старый слуга смотрел так самодовольно на рисунок своей госпожи, словно сам нарисовал его.

Ну, и довелось же Антонии Христиановне в тот вечер долго со мной провозиться: расспросам не было конца!

Но более всего любила я слушать, когда мать моя пела. Бывало, в сумерки, походит она по комнате, разомнется немножко, после работы целого утра, и откроет фортепиано... И чуть услышу я стук крышки и первый аккорд, чем бы я ни была занята, – все бросаю! Бегу и забиваюсь куда-нибудь в уголок, за дверь или за печку, где бы никто не мешал мне смотреть на нее и слушать ее чудесные песни... И казалось мне тогда, что никто не может петь лучше моей матери и никого в мире нет краше ее самой!..

Счастливые, сном промелькнувшие годы раннего детства!

Весь 1840 год мы провели в Саратове, где дед мой, Фадеев, был губернатором<sup>76</sup>. Для нас, детей, год этот был непрерывным, радостным праздником и на последнее время жизни матери

---

<sup>73</sup> Это случилось позже: кажется, в 1841 году. – *Примечание В.П.Желиховской.*

Речь идет о Льве Викторовиче Кочубее (1810–1890) и его жене Елизавете Васильевне Кочубей (1821–1897), композиторе-дилетанте. Родителями Л.В.Кочубея были Виктор Павлович Кочубей (1768–1834) и Мария Васильевна Кочубей (урожд. Васильчикова, 1779–1844). Таким образом, члены семейств Ганов и Кочубеев через семейство Васильчиковых состояли в родстве (см. примечание 11).

<sup>74</sup> Повесть Е.А.Ган, опубликована в «Библиотеке для чтения» (1840, т. 44).

<sup>75</sup> Что говорит этот мужчина? Кто эта дама (*фр.*).

моей, я уверена, он пролил отрадный свет. Она выше всего в мире ставила родственные связи; не знала друга более ей близкого, чем сестра ее<sup>77</sup>, была горячо привязана к меньшим своим, брату и сестре; а отца своего и мать положительно боготворила.

Не могу здесь не остановиться, хотя слегка, на замечательной личности своей бабушки, Елены Павловны *Фадеевой*<sup>78</sup>. Многие ее биографы замечали, что, выходя замуж за человека без состояния и (в то время, когда ему было 22 года!) не чиновного, она, княжна Долгорукая, сделала *mésalliance*<sup>79</sup>. Но что такое было княжество, – случайный дар судьбы, сравнительно с необычайными личными достоинствами и дарованиями этой необыкновенной женщины?

Не было человека, который бы не ценил, не любил и не уважал ее; но личное значение ее и заслуга удесятерятся тем фактом, что почти никто, кроме самых близких людей, не знал ее вполне и не мог знать всесторонних ее достоинств, умственных и нравственных, а потому и оценить ее *вполне* не мог... Пусть я рискую тем, что иные заподозрят, что я кичусь, как римские гуси, заслугами своих предков, – но я не могу, будучи одной из немногих знавших ее всесторонне, умолчать, дать памяти о ней кануть в вечность, не попытавшись воскресить ее, достойный подражания, образ в воспоминании русского общества, которое может гордиться проявлением в своей среде таких высоких личностей<sup>80</sup>. Не стану говорить о том, какая она была прекрасная жена и мать, как заботилась о семье, как умела не только детям, но и внукам своим заменять наставников и учителей по многим предметам и наук, и искусств. С самых молодых лет она любила серьезные положительные знания и неустанно училась. Она говорила на пяти языках; знала историю, естественные науки; занималась археологией, нумизматикой, ботаникой, и занималась ими не как «*дама-любительница*», а положительно, на практике, составляя редкие, драгоценные коллекции, исписывая тома, состоя в ученой переписке и деятельной мене изысканий своих и рисунков с европейски известными натуралистами: с президентом Лондонского географического общества Мурчисоном, со Стевенем, Бэром, Абигом, Карелиным<sup>81</sup>. Робер де Гель<sup>82</sup> в своих сочинениях («*Les steppes de la mer Caspienne, la Crimée et la Russie méridionale, le*

---

<sup>76</sup> Фадеев Андрей Михайлович (1789–1867) – государственный деятель, тайный советник (1858), управляющий конторой иностранных переселенцев (Екатеринослав, 1817–1834), член комитета иностранных поселенцев Южного края России (Одесса, 1834–1837), главный попечитель кочующих народов (Астрахань, 1837–1839), управляющий палатой государственных имуществ Саратова (1839–1841), гражданский губернатор Саратова (1841–1846), член Совета главного управления Закавказского края (Тифлис, с 1846 г.), управляющий экспедицией государственных имуществ при главном управлении Закавказского края (Тифлис, с 1850 г.); дед Е.П.Блаватской и В.П.Желиховской.

<sup>77</sup> Екатерина Андреевна Витте. Меньшие брат и сестра матери: Ростислав Андр[еевич] Фадеев, военный писатель, и Надежда Андр[еевна] Фадеева. – *Примечание В.П.Желиховской.*

Фадеев Ростислав Андреевич (1824–1883) – генерал-майор, военный историк, публицист, дядя Е.П.Блаватской и В.П.Желиховской.

Фадеева Надежда Андреевна (1829–1919) – тетя Е.П.Блаватской и В.П.Желиховской.

<sup>78</sup> Фадеева Елена Павловна (1788–1860) – ученый-естествоиспытатель, бабушка Е.П.Блаватской и В.П.Желиховской.

<sup>79</sup> Мезальянс (*фр.*) – брак между людьми разных сословий или классов, между людьми, сильно отличающимися по имущественному или социальному положению.

<sup>80</sup> Я совсем не хочу этим воздаянием кесарева кесарю подтверждать заявлений о *mésalliance*'е ее: дед мой был хорошего дворянского рода, образованный, умный, достойнейший человек, честно служивший на государственной службе своему царю, а совсем не в частной службе, как то заявила газ[ета] «Новости» в одном из прошлогодних фельетонов. Он скончался в Тифлисе, членом совета наместника кавказского. – *Примечание В.П.Желиховской.*

Речь идет о статье литературного критика и историка русской литературы А.М.Скабичевского (1838–1911) «Эпизод из литературных нравов 30-х годов» (Новости и биржевая газета, 1886, №222, 14 августа).

<sup>81</sup> Мурчисон Родерик Импи (1792–1871) – английский геолог и путешественник, президент Лондонского геологического и географического общества, трижды проводил научные исследования в России.

Стевен Христиан Христианович (1781–1863) – русский ботаник, садовод и энтомолог, основатель и первый директор Никитского сада в Крыму.

Абих Герман Вильгельмович (1806–1886) – немецкий геолог, естествоиспытатель и путешественник, с 1854 по 1877 г. жил в Тифлисе.

Карелин Григорий Силыч (1801–1872) – естествоиспытатель и путешественник.

<sup>82</sup> Оммер де Гелль Ксавье (*Hommage de Hell*, 1812–1848) – французский инженер, геолог и путешественник, в 1838–1842 гг. проводил геологические изыскания в России.

Caucase»<sup>83</sup> и пр.) многократно упоминает о ней как о замечательно ученой особе, во многом руководившей им в его изысканиях. Lady Stanhope<sup>84</sup>, известная английская путешественница (изъездившая весь мир в мужском костюме), в одном из сочинений своих о России говорит о ней, что «встретилась в этой варварской стране с такой удивительно ученой женщиной, которая прославилась бы в Европе, если б не имела несчастья проживать на берегах Волги, где мало кто может понять ее и никто не в состоянии ее оценить...» Она оставила более 70 толстых томов своих рисунков, цветов, древностей, монет и переписанных ею редких экземпляров сочинений. Рисовала она прекрасно! И теперь у меня хранятся два больших тома оранжерейных растений, нарисованных ею *левой рукой* в старости, когда паралич отнял у нее употребление правой руки... Она знала и музыку настолько, что дочерям своим и внучкам сама ее начально преподавала. Кроме того, бабушка Фадеева была такая рукодельница, которой даже приблизительно подобной я никогда не знавала! Положительно, не существовало не только женского рукоделия, но и более трудных ремесел: как переплетное дело, плетение кружев, искусственные цветы, набивание чучел из птиц и зверей, картонажи и работы из раковин, – не говоря уж о всевозможных шитьях, вышиваниях и вязаниях, в которых она не могла бы [не] служить и профессором, и самой ловкой исполнительницей. Мало этого: она была превосходнейшая хозяйка и сама обучала своих экономок и поваров, которые достигали под надзором ее высшего искусства в своем деле. Откуда брала эта женщина время и энергию? – я часто и теперь задумываюсь и недоумеваю!.. Она и в свое, более сильное и деловитое, время была каким-то многосторонним колоссом знаний и практически благотворной деятельности! Каким-то анахронизмом, более подходившим к периоду титанов, если бы только заменить физические рост и силу древних великанов – мощью духовною и неустанною деятельностью... Правда, что Елена Павловна вставала в 6 часов утра зимой и летом, а ложилась не ранее полуночи. Правда и то, что никогда, никому из домашних не приводилось видеть ее праздною.

Казалось бы, при такой переполненной разнообразными занятиями жизни общественным обязанностям уж не может быть места?.. Но, нет! Правда, бабушка тяготилась выездами и их избегала, но дома была самой приветливой и любезной хозяйкой, и дом Фадеевых во все времена и во всех городах, где приходилось им жить, всегда считался одним из самых хлебосольных и широко гостеприимных. Тифлис и даже Саратов и поныне это прекрасно помнят!

Е.П.Фадеева, при всех своих глубоких знаниях и ученых занятиях, была так непритязательна в обращении, так искренна и обходительна со всеми, что многие простые смертные, знавшие ее по годам за ласковую, веселую собеседницу, иные за прекрасную хозяйку, другие за хорошую рукодельницу, все за добрую помощницу, всегда готовую услужить и советом, и делом, часто и не подозревали ее глубоких знаний и ученой деятельности. И наоборот: не раз люди науки, хорошо знакомые с ее кабинетом и разнообразными коллекциями, открывали в изумлении рты, когда нянька вызывала ее покормить ребенка или являлась ключница за наставлениями... Потому-то и сказала я, что мало кто знал ее вполне. Скромность этой удивительной женщины равнялась ее уму и доброте.

Какое искреннее, живое участие ко всем чужим горестям и радостям всякий находил в ней, и как верно и хорошо умела она все оценить и отозваться на всякое дело! С молодыми бабушка умела и поболтать, и посмеяться; со стариками любила поминать старину, и как интересно о ней рассказывала!.. От опечаленных никогда не сторонилась, всегда находя на каждое горе живой, сочувственный отклик в своем многолюбивом сердце. Даже с малыми детьми умела веселиться, как ребенок, нежно снисходя до них, а не тянула их насильственно до себя, как это делают нынешние книжные педагоги... За то же и любили ее все от мала до велика! Все – знавшие ее ум и глубокие знания и не знавшие их, довольствовавшиеся лишь только ее добротой и прелестью обхождения. Я нахожу, что лучшей эпитафии нельзя было найти для такой женщины, как та, что

---

<sup>83</sup> Точное название книги: «Les steppes de la mer Caspienne, le Caucase, la Crimée et la Russie méridionale» («Степи Каспийского моря, Кавказа, Крыма и Южной России»), в 3-х т., 1843–1845).

<sup>84</sup> Стэнхоуп Эстер (1776– 1839) – британская путешественница, археолог.

золотыми буквами врезана на мраморном кресте<sup>85</sup> ее могилы: *«Паче всего стяжала любовь, яко любовь есть союз совершенства»*.

В июне 1840 г. в Саратове у моей матери родился ее последний ребенок – брат наш, Леонид<sup>86</sup>.

Его уже не могла она кормить: ей приходилось теперь самой поддерживать свои силы женским молоком; а последний год ее жизни, проведенный снова с отцом нашим в малороссийской деревне, был рядом то усиливавшихся, то несколько ослабевавших страданий. Но духом она не падала, напротив, – крепла и развивалась до последней минуты. *«Напрасный дар»* – роман, который смерть ей не дала окончить, всеми критиками, с Белинским<sup>87</sup> во главе, признан самым сильным и лучшим ее произведением.

Ранней весной 1842 г. мы переехали снова в Одессу, ради здоровья матери моей; но тамошние доктора уж не могли ей помочь. Напротив, едва ли губительная система лечения кровопусканиями, тогда существовавшая, не ускорила ее смерти. Зная, что умирает, она писала отцу и матери, прося их взять нас всех троих к себе, и они свято исполнили ее желание. Но перед кончиной она еще была порадована свиданием с ними; в конце мая они приехали в Одессу, а 24 июня 1842 г. она умерла на руках своей матери.

В.П.Желиховская, рожденная *Ган*.

С.-Петербург. Декабрь 1886.

---

<sup>85</sup> В Тифлисе, при церкви Вознесения. – *Примечание В.П.Желиховской*.

<sup>86</sup> Ган Леонид Петрович (1840–1885) – брат Е.П.Блаватской и В.П.Желиховской, мировой судья 2-го участка Ставропольского уезда (1869–1876), присяжный поверенный округа Тифлисской судебной палаты в Ставрополе (1881–1883), присяжный поверенный Тифлисского окружного судьи (1884–1885).

<sup>87</sup> Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) – литературный критик. Он писал о творчестве Е.А.Ган в статье «Русская литература в 1841 г.» и посвятил ей статью «Сочинения Зенеиды Р-вой. Санкт-Петербург. 1843. Четыре части» (1843).